

АЛЕКСАНДР
ПИСАРЕВ

Как жить, собирать и думать:

обзор российских
интеллектуальных журналов



Александр Александрович Писарев (р. 1988) – исследователь, переводчик, преподаватель, младший научный сотрудник Института философии РАН.

Э тот обзор будет, пожалуй, самым разнообразным по тематике обсуждаемых номеров за последнее время – почти никаких совпадений и пересечений. Есть темы фундаментальные и остроактуальные, теоретические и даже практические. Существенный вклад в это разнообразие внес дебютирующий здесь междисциплинарный журнал «Versus» из Санкт-Петербурга. Мы обсудим два его номера: о публичности и о приключениях природы в дискурсах и искусстве. В свою очередь «Логос» вернулся к чистой философии и посвятил номер Гегелю в прочтении аналитических философов. «Ab Imperio» продолжает поиски подходов к постнациональному обществу, «Stasis» обсуждает, как строить жизнь в актуальных условиях, а «Художественный журнал» посвятил номер феномену коллекционирования.

**ОБЗОР
ЖУРНАЛОВ**



НЕПРИРОДНОСТЬ ПРИРОДЫ

«*Versus*» – междисциплинарный журнал, основанный в 2021 году. На его сайте заявляется, что он задуман как «форум по продвижению нового знания и обмену свежими идеями между представителями различных дисциплин в процессе изучения общего предмета». Декларируемые ориентиры – дискуссионность, новизна и поиск, поэтому нет ограничений на формат и жанр материалов, что заметно уже по номерам, которые мы обсудим: здесь есть и академические тексты, и художественная критика, и автобиографическое эссе.

Начнем с четвертого номера «*Versus*» (2022), посвященного теме «Эко/геокритика». За этой лаконичной формулировкой скрываются весьма разнообразные материалы, которые можно было бы объединить вопросом «Как говорить о природе?».

Дискуссию открывает Грег Гаррард. Он дает обзор четырех радикальных направлений *энвайронментализма*, противопоставляя их идее неисчерпаемости ресурсов. Неисчерпаемость в представлении многих экономистов, демографов и промышленников достигается развитием технологий и капитализма. Они предполагают, что дефицит – «это экономический, а не экологический феномен и справиться с ним помогут предприниматели-капиталисты, а не снижение потребления, за которое ратуют *энвайронменталисты*» (с. 9). Вероятно, каноническим примером для сторонников этой позиции является неисполнение прогноза Мальтуса. Гаррард разбирает позиции глубинной экологии (процветание ценой сокращения численности населения), экофеминизма (отказ от андроцентрического дуализма), экомарксизма (ресурсы неисчерпаемы, но надо сменить политическую структуру общества) и хайдеггерянского *энвайронментализма* с его антипрогрессизмом. Одним из ключевых пунктов расхождения между ними и сторонниками

идеи неисчерпаемости является отношение к природе: первые ратуют за признание самоценности природы, последние же считают, что она ценна постольку, поскольку полезна (с. 11).



Многое, в конечном счете, упирается в *концепцию* природы, которая может быть реализована не только в *экодискуссиях*, но и в художественных произведениях, формирующих режимы чувственности обществ. Отталкиваясь от этого, свой вариант *эко*-критики предлагает Тимоти Мортон. Это *этико-эпистемический* проект: он строит *экологию без природы*, чтобы противостоять *нормативным* концепциям природы «во имя существ, чувствующих и страдающих в катастрофических экологических условиях» (с. 37). При этом Мортон опирается на собственные штудии представлений о природе в искусстве. Историзируя их, он показывает, что природа – сугубо риторический конструкт, не имеющий независимого существования за пределами текста. Поэтому необходимо перехватить использование риторического эффекта природы в искусстве и политизировать его ради поддержки *энвайронментализма*.

Тематику природы в литературе продолжает Надя Каприольо. В фокусе ее вни-

мания – отчуждение и коммодификация природы в советской и постсоветской литературе – в частности, в романах «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина и «Зона затопления» Романа Сенчина. Выбор романов продиктован общностью сюжета: принудительное переселение деревни в преддверии ее затопления из-за строительства ГЭС. В экокритике Каприольо природа предстает проекцией переживаний и насилия людей.

От художественных текстов к художественным объектам. Следующие два текста посвящены интерпретации трех проектов медиаискусства в жанре *deep media* – «Геологической трилогии» Дмитрия Морозова (::vtol::), – которые представляют собой эффектные технологичные установки, воспроизводящие те или иные физические явления – например, магнетизм. Художник обращается к нарративам о советском «углублении» в природу и его последствиях, встраивая их в свои интерактивные механизмы: сверхглубокая шахта на Кольском полуострове, Сихотэ-Алинский метеорит, магнетизм которого зависит от температуры, и высыхающее Аральское море.

Йозель Регев анализирует эти проекты с точки зрения типологий *машинности* Ансона Рабинбаха и Маттео Пасквинелли (механические и энергетические машины, карбоновые и кремниевые) и пытается показать, что инсталляции Морозова – это машины нового, третьего, типа. Они перерабатывают информацию и изменяют ситуацию и ее прошлое, помимо сознания и воли человека (с. 66, 68). Эти «машины расположения» исходят из нужд ситуации, а не человека. Однако при таком философском прочтении теряется собственно художественность: без нее это действительно странные машины, не выполняющие никакой работы и ни во что не вписанные, но и не обладающие художественной действенностью.

Наталья Федорова дает более контекстуализированную интерпретацию. Она свя-

зывает работы Морозова с исследованием зыбкого присутствия *советского* там, где когда-то действовал советский модернистский проект по колонизации природы: от глубин земли до космических высот. Это прочтение вполне соответствует собственным экспликациям художника, но все еще остается неясным, зачем для такого сообщения понадобилось искусство.

Думается, нетривиальные проекты Морозова заслуживают быть понятыми в качестве того, чем они являются, а не сводиться к иллюстрациям каких бы то ни было нарративов. Обсуждение проектов медиаискусства в контексте темы номера упускает одно тривиальное обстоятельство: эти проекты сделаны в рамках технауки и разделяют ее допущения. Это не нейтральные инструмент и оптика, они нуждаются в тематизации, а не в интерпретациях, которые смотрят «сквозь». Они обладают специфической материальностью, напрямую связанной с производством природы наукой и техникой, и в этой плоскости могут быть полезны для экокритики.

Также в номере читатель найдет интереснейшее автобиографическое эссе исследовательницы Светланы Бойм, публикация которого началась в предыдущем выпуске журнала. Она вспоминает жизнь в СССР до отъезда и визиты в Россию в 1990–2000-е, изменение своей ностальгии и ощущения себя относительно меняющегося культурного ландшафта страны.

Закрывает номер публикация главы о моде и сексуальности из неоконченных «Пассажей» Вальтера Беньямина. В фокусе его внимания особенности и утопические грезы буржуазного сознания, овеществление, товарный фетишизм и изменения статуса тела. Постепенная публикация *opus magnum* Беньямина – долгосрочный проект журнала, данный фрагмент уже третий. В этот раз его сопровождает комментарий Сьюзен Бак-Морс.

БЕЗНАДЕЖНАЯ ПУБЛИЧНОСТЬ

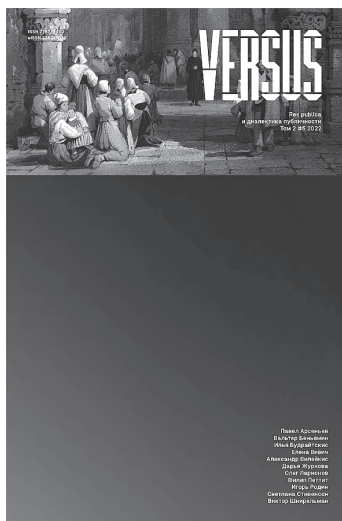
Следующий, пятый, номер «Versus» (2022) посвящен перипетиям республиканизма и публичности в российском контексте. Его открывает интервью с классиком теории республиканизма Филипом Петтитом, посвященное свободе и ее ограничению со стороны структурного насилия норм и конкретного насилия обстоятельств (с. 9). Обсуждение республиканизма дополняет обстоятельная рецензия Олега Ларионова на сборник «Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века» (2021).

Все ли практики гражданской активности и самоуправления положительны? Светлана Стивенсон ставит это под сомнение в своем исследовании сценариев советских практик *проработки*, то есть публичного клеймения, на местах работы и учебы. Выбор темы не случаен, поскольку клеймение – моральное негодование – широко распространено и сегодня, воплощаясь в работе этических комиссий, культуре отмены и в социальных сетях. Стивенсон показывает, что в советском варианте проработка имела самое косвенное отношение к моральному исправлению и перевоспитанию: это был механизм социального исключения и утверждения советского порядка (с. 25) через разыгрывание «театра абсурда», априорного чувства вины и неясности происходящего (с. 29).

«Собрания, риторически конструируя безусловное зло из обыденных или легко объяснимых в повседневной практике поступков, выводило участников из области повседневного в область метафизического, фантазмагорического, сакрального. В процессе собраний утверждалась власть Закона, со всей его безраздельной, непроясненной и карательной мощью. [...] на поверхность вырываются прежде подавляемые чувства зависти, злорадства, наслаждения властью (пусть и сиюминутной) над другим человеком. Эти атрибуты социаль-

ного клеймения, похоже, присутствуют и в современном обществе» (с. 37).

Проработка была механизмом формирования двоемыслия и циничных субъективностей, удобных для общества и готовых приспособливаться к нему, делая вид, что самые деморализующие его практики – лишь формальность, но одновременно полноценно вовлекаясь в них.



Во второй части номера обсуждение производства субъектов продолжается в других контекстах. Например, Елена Вилич проясняет корни давнего конфликта феминизма и психоанализа и анализирует текстуальные механики формирования феминистской субъектности. Привлекая разнообразный материал, она доказывает, что причина конфликта не столько в содержательных различиях, сколько в сходстве принципов устройства дискурсов: феминистская оптика многое заимствует у психоанализа (с. 56). Заимствование произошло во времена французского феминизма второй волны, лакановского психоанализа и фрейдомарксизма. Они «схожим образом находят решения схожих проблем, но решения эти лежат в разных плоскостях» (с. 56). Феминистская оптика тоже ищет

симптомы, но роль сознания играют отдельные случаи, а бессознательного – социальная система прескрипций, объективируемая в феминистских текстах (с. 73).

Вивич подвергает феминистские тексты лингвистическому анализу и формулирует нетривиальный тезис: эти тексты структурируются прескрипциями о том, что хорошо или должно, и дескрипции в этих текстах подчинены задаче обоснования этих предписаний (с. 58–60). Именно «прескриптивная часть ответственна за создание политической субъектности» (с. 68), причем смысл прескриптивов определяется вне зависимости от контекста их связи между собой. Тему языковой детерминации субъективности продолжает Игорь Родин. Он привлекает внимание к тому, как меняется субъект из-за трансформаций языка, вызванных его калькированием.

От языковой детерминации субъектов – к политической. Виктор Шнирельман обращается к изучению советской и постсоветской политик памяти на примере двух объектов: беседки в Нескучном саду, построенной в 1951 году к 800-летию Москвы, и оформления Боровицкой площади и Александровского сада, относящегося к 2010-м. Исследователь показывает, что в обоих случаях мемориальная культура подчеркнута милитаризована, маскулинна и замещает травму триумфом, а историю – мифом (с. 128–130, 138–139). Однако постсоветский нарратив выдвигает на первый план роль руководителей и царей в ущерб роли народа, вносит религиозную составляющую (с. 140) и отодвигает на задний план революцию. По оценке Шнирельмана, это *архаизирующий* нарратив: религия вместо космоса и науки, цари вместо людей. «Никакой понятной массам нравственной идеи здесь нет, как нет и осмысленного пути к будущему. Отсюда цинизм, разъедающий как элиту, так и массы» (с. 142).

Эта пустота, можно предположить, является следствием другого свойства

государственной политики, исследуемого Шнирельманом в книге «Удерживающий. От Апокалипсиса к конспирологии» (2022). В рецензии на нее Илья Будрайтскис комментирует тезис Шнирельмана о «конспирологии сверху», согласно которому конспирология стала структурообразующим инструментом господствующего описания реальности. В ее центре – реинтерпретированная библейская «идея “удерживающего”, России как мессианского препятствия на пути зловещего плана мирового господства, который пытается реализовать секретная глобальная элита» (с. 154). Будрайтскис, в целом соглашаясь с выводами Шнирельмана, оспаривает отождествление этой идеи и антисемитизма с эсхатологией в целом, поскольку последняя все же предполагает образ желаемого будущего, чего нет в конспирологии «удерживающего». Кроме того, он отмечает – вопреки Шнирельману, – что конспирология не атавизм домодерного мышления, а продукт секуляризации и «темная» сторона Просвещения. Рецензия Будрайтскиса интересна обзором истории и перипетий конспирологического мышления в СССР и России от оппозиционного и андерграундного до мейнстрима, востребованного государственной элитой.

Завершается номер очередной частью «Пассажей» Вальтера Беньямина, посвященной архитектуре и катакомбам Парижа, его античным корням и современности.

ПРИУЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ

Журнал «Логос», давно ставший междисциплинарным, возвращается к философии, посвятив очередной номер (2023. № 2) интерпретациям Гегеля в аналитической философской традиции. Сочетание, может быть, неожиданное, но, как оказалось, выигрышное. Гегель на языке аналитиков яснее и прозрачнее самого Гегеля и большинства его интерпретаторов. Это созна-

тельная стратегия, ведь передача мысли Гегеля его языком еще сильнее затрудняет понимание и так непростого философа, работая как испорченный телефон.

Аналитическое прочтение избегает вчитывания в Гегеля догматической идеалистической метафизики и стремится «приземлить» его, увидев в его построениях размышления об известном нам мире – например, о системе науки как коллективного познания. «Философский язык не несет в себе прямой референции к миру, но он указывает на способы толкования и понимания категорий, эмпирических терминов и т.п., которые косвенно отсылают к предметам в мире» (с. 5). Кроме того, в этом прагматизирующем прочтении философия Гегеля становится современной нам в качестве «ящика с инструментами» для работы здесь и сейчас.

Например, Терри Пинкард интерпретирует логику Гегеля в нормативном ключе – как прояснение логики *уже имеющегося* мышления (скажем, того или иного научного мышления, с. 35). Это прояснение он анализирует через идею языковых игр: «термины приобретают свое значение (свою определенность) в силу ходов, которые они совершают в языке (игре)» (с. 11). Предполагается, что каждое понятие – позиция в игре, и мысль *выводит* из одного понятия другое, тем самым двигаясь к нему. В конечном счете, приходит к выводу Пинкард, «Гегель не просто немецкий романтик XIX века, слушающий собственные заклинания о Мировом Духе, но философ, озабоченный тщательной разработкой логических отношений между всеми различными способами, которыми мы переживаем вещи и говорим об этом опыте» (с. 36).

Такое понимание Гегеля сближает его с кантовским трансцендентализмом. К этому близок Пирмин Штекелер-Вайтхофер, рассматривающий Гегеля как продолжателя критической линии Канта на территории философии языка. В его оптике логика

предстает как «анализ логической формы локальных областей речи» (с. 40). Аналогично Роберт Пиппин показывает, что – вопреки расхожему представлению – Гегель понимал метафизику не догматически, а прагматически: он соединял аристотелевское понимание метафизики как изучения условий мыслимости обычных объектов (с. 84) с посткантовской логикой (с. 98).



Иным пути пошел Джон Макдауэлл: он прочитывает Гегеля через Витгенштейна и прагматизм. По его мнению, немецкий философ тематизировал переход от традиционной к современной культуре и смену статуса нормативности с укорененной в природе на произведенную сообществом (с. 170). В такой оптике Гегель оказывается философом-терапевтом, который не столько решает философские проблемы, сколько показывает их концептуальный исток. Этот момент внятно разбирается Гаррисом Рогоняном в обзоре «приручения» Гегеля Макдауэллом.

Например, гегелевский тезис о тождестве субъекта и объекта Макдауэлл перетолковывает как указание на принципиальную познаваемость мира и *тождественность* концептуальной структуры мира концептуальной структуре опыта. Это позволяет



уйти от учреждающего пропасть между ними представления о природе как каузально замкнутой системе, поскольку каузальное ограничение дополняется рациональным, и прийти к критически вооруженному здравому смыслу (с. 160–161). Терапевтический характер системы Гегеля в интерпретации Макдауэлла – прямое следствие гегелевского утверждения безграничности концептуального и тождества субъекта и объекта, ведь из этих ходов следует снятие пропасти между разумом и реальностью. Более того, в этом прочтении усвоить систему Гегеля значит не приобрести еще одну теорию, а прояснить уже известное до всякой философии.

Блок с материалами аналитического прочтения Гегеля дополняют статьи российских исследователей. Денис Маслов, редактор-составитель номера, уточняет статус диалектики по отношению к формальной логике и приходит к ее пониманию как прагматической «рефлексивной стратегии понятийного (категориального) исследования» (с. 111). Ольга Ивашук демонстрирует тупиковость попыток решить проблему различения добра и зла в рамках кантианства и возможность сделать это при помощи систем Гегеля и Шеллинга.

На подступах к постнациональному

В 2023 году «*Ab Imperio*» продолжает свой основной проект по развитию эпистемической деколонизации и концентрируется на «пересмотре исторических проблем и теоретических подходов, традиционно описываемых в рамках телеологической и бинарной оппозиции империи и нации, гибридности и аутентичности, архаизма и модерности» (с. 16). Ревизия аналитического языка дополняется анализом природы группности и механизмов, *производящих* и поддерживающих универсальность, раз-

нообразии и множественности социальных агентов. Эти задачи резюмируются годовой темой «На пути к постнациональной истории Евразии: деконструкция империи и денационализация группности».

Первый в 2023 году номер «*Ab Imperio*» посвящен «Динамике империализма и национализма в Евразии». Его смысловым ядром является поиск *постнациональных подходов* к описанию «сложных, нетерриториальных, постнациональных форм лояльности» (Аржун Аппадурай). Такие подходы должны быть вне нациецентричной эпистемологии и сопровождающей ее эссенциализации. Однако речь не идет о поиске новых политических форм после государства для прежнего «населения» или «гражданского общества». Эти прежние формы обнаруживают архаичность и оказываются под вопросом, который можно свести к следующему: почему люди, проживающие на определенной территории, должны испытывать социальную солидарность друг с другом (с. 31)? Национальная принадлежность является сегодня лишь одной из форм солидарности, но это игнорируется государствами. Отсюда распространение *национализмов без нации*, навязывание национального (например через гражданский патриотизм, религиозный фундаментализм, ксенофобию и, наконец, войну), но ценой его еще большего распада. Общества оказываются в постнациональном состоянии, однако вынуждены продолжать жить в современных национальных государствах; примирить это противоречие, найдя новые политические формы, – задача, одновременно практическая и эпистемическая.

Блок «Мысленная разметка» посвящен теоретическим размышлениям. Так, Марлен Ларюэль указывает на базовый конфликт в дискуссиях о деколонизации Евразии как политического пространства и исследовательского поля. Это противоречие между эмансипационными задачами таких дискуссий и нациецентризмом социальной

критики, из которой они исходят. В качестве альтернативы нациецентризму Сатоши Мизутани предлагает теорию *трансимперской истории*, делая ставку на межколониальную *солидарность* разных групп угнетенных (с. 42) и отказ гегемонным группам в их притязаниях на власть. Солидарность, обеспечиваемая активной антиколониальной политикой, порождает процессуальную и ситуативную гибридную группность, пересекающую национальные границы. Мизутани утверждает, идея гибридности – это ядро теории постнационального (с. 43).

Другой вариант реализации такой гипотетической и трансграничной горизонтальности предлагает Тамар Ширинян. Она обращает внимание на национальный контроль населения и жесткость идентичностей, производимых нацией. В качестве альтернативы Ширинян предлагает *квир-диаспоры* (с. 66–67) – антиэссенциалистский теоретический объект, исходящий из перемещения (*dislocation*) как основополагающего экзистенциального и эпистемологического состояния. «Квир» же означает способность создавать политические возможности в противостоянии господствующим нормам: в постнациональном обществе ключевую роль играет уже не национальность, а *опыт идентичности*.

В чем-то поддерживая идею диаспоризации, Марко Пулери предлагает идею *архипелага* русскоязычных сообществ разных стран (с. 91). В своих размышлениях он отталкивается от исследования русскоязычной украинской литературы и выдвигает императив *растождествления* языка и страны. В концепции Пулери множественность, полицентричность архипелага нейтрализует идею гомогенного «русского мира» и русского языка в пользу множества локально развивающихся русских языков, продуктивно взаимодействующих с местными культурами.

Блок эмпирических исследований открывается статьей Богдана Павлиша о перепле-

тении политических и культурных целостностей в раннее Новое время. Свой подход он называет *номадической историей* в противоположность национальной «территориальной» истории и отталкивается в нем от аналитических проблем и вопросов, а не фиксированных территориальных единиц и групп. Это дает ему возможность поочередно прибегать к разным пространственным перспективам, не будучи привязанным только к одной из них (с. 103).

Исследования Риккардо Николози и Светланы Сувейкэ посвящены судьбе конкретных общностей. Николози анализирует устройство современного дискурса боснийской нации как нации мультикультурной и исламской. Этот дискурс выстраивался в 1990-е боснийскими писателями разных поколений, которые реагировали на сербский национализм и отсылали к османскому историческому наследию. Николози выявляет противоречия между религией и этнической принадлежностью, исламским универсализмом и боснийской национальной обособленностью. Сувейкэ же обращает внимание на поиски бессарабскими элитами нового статуса для Бессарабии после распада Российской империи. По сути, элиты оказались между двумя национализирующими проектами: и русские белоэмигранты, с которыми они связывали надежды на восстановление российского имперского режима и присущего ему партикуляризма, и румынские элиты придерживались националистических взглядов.

Завершается блок статьей Ильи Герасимова о дефолте 1998 года как первом симптоме проблематичности российского национального проекта. Основная проблема, по его мнению, глобальна и затрагивает многие государства. Она состоит в попытке построить национальное государство в обществе, которое находится в постнациональном состоянии, подготовленном глобализацией и приоритизацией универсальных прав человека (с. 153). Симбиоз



республиканизма и национализма, бывший фундаментом национальных государств, уже не работает. В западных странах финансовая мощь и отлаженные национальные институты еще компенсируют это расхождение, но в постсоветских государствах такой «подушки» не было. Поэтому они первыми столкнулись с этой проблемой – необходимостью изобрести новую форму политической субъектности для постнационального общества (с. 155; для балтийских республик решением стало принятие в Евросоюз). На постсоветском пространстве национальное государство оказалось в условиях ослабленной национальной солидарности, развития трансграничных форм солидарности и системного кризиса доверия граждан к государственным механизмам. Оно уже не могло, как прежде, мобилизовывать и контролировать население, и недавняя мобилизация в России была лишь последним средством вернуть общество в национальное состояние.

Также в этом номере читатель найдет интересное исследование позднесоветской интеллигенции как *ситуативной сборки*, а не статичной группы. Екатерина Мельникова показывает, как конкретная задача – восстановление древнего монастыря на острове Валаам – конституировала интеллигенцию как эмоциональное сообщество и коллективного социального актора и как эта сборка распалась после того, как задача перестала быть актуальной.

ЖИЗНЬ КАК ПРОЕКТ И СОБЫТИЕ

Актуальный контекст обуславливает неотложность вопроса, ставшего ведущим для «*Stasis*» (2022. № 2): «как сориентироваться и как правильно действовать в катастрофической и неопределенной ситуации?» (с. 7). В номере обсуждаются философские проекты выстраивания нравственной и практической жизни.

Как вообще возможен нравственный поступок? Жак Деррида когда-то сформулировал серию апорий в его основании (с. 16), которые делают дружеский поступок, прощение или дар непредставимыми и невозможными в силу их неотличимости от прагматических двойников – преследования выгоды и исполнения ритуала или закона, пусть даже нравственного. «Вообще невозможно представить реальные основания для того, чтобы быть нравственным, – наличие таких оснований делает поступок прагматичным, но не нравственным» (с. 20). Андрей Железнов разбирает эти апории и предлагает искать выход из них в переосмыслении отношений между поступком и результатом (с. 24): нравственность может быть ценной сама по себе, а не в силу ее оценки как соответствия чему-то. Поступок должен быть помыслен как *событие*, а не результат. Для этого он обращается к идеям Жиля Делёза и Джона Милбанка. Решение Железнова предполагает, что нравственный поступок – это переход к *новому* состоянию, причем «новая социальная связь не определяется никакими обязательствами или выгодами; ценить такой переход к неизвестному новому, к новым отношениям, верить в ценность этих новых отношений, – это и значит быть нравственным» (с. 27).

Получается, что продуктивность деятельности и в целом активация индивида – возможный путь этической самотрансформации. Это отчасти подтверждается тем, что она обнаруживается в ядре очень разных философий. Так, Юлия Попова выявляет преобразующую коллективную деятельность в ядре стратегий строительства «объективной жизни» в двух несхожих проектах: сакральном материализме Павла Флоренского и деятельностном подходе Эвальда Ильенкова. В случае первого это литургия как «перводеятельность, [...] которая превращает индивидуальные, субъективные практики в объективную,

“вселенскую форму”» (с. 43). В случае второго – это труд, в котором отдельные тела преобразуются в коллективное неорганическое тело культуры (с. 50). Обе деятельности размыкают субъекта на встречу тому, что его превосходит. Попова противопоставляет такую активацию меланхолически-бессильному созерцанию господства и неизбежности капитализма. В свою очередь Анна Чальцева показывает, что, чтобы осмыслить ветвящиеся условия человеческой деятельности, необходимо переосмыслить связанные в один проблемный узел феномены смерти и природы, устранив их чуждость и противопоставленность человеческой жизни.

Какая-то форма коллективной деятельности должна возникнуть в жизни индивида достаточно рано, чтобы быть усвоенной в качестве базовой ориентации в мире. Например, теоретик русского авангарда и коллекционер игрушек Николай Бартрам мыслил игрушки как «подготовительный класс к жизни» (с. 66). Александр Марков, анализируя концепцию Бартрама при помощи акторно-сетевой теории, осмысляет игрушки как инклюзивную лабораторию по производству нового жизненного мира с некапиталистическими социальными и трудовыми условиями и соответствующими режимами чувственности (с. 73). В этой лаборатории происходит трансмедийный перевод внеполитической эстетики в политическую (с. 76).

Подобной игрушкой, только обернувшейся кошмаром, стал скандальный арт-проект «Дау» Ильи Хржановского. Тотальный перформанс, который должен был стать разоблачением советской действительности, в силу своего устройства обернулся воспроизводством этой самой действительности. Конфигурацию отношений между участниками и руководителем проекта анализирует Кети Чухров.

Также в номере опубликована дискуссия об этике, посвященная книге Артемия Ма-

гуна «От триггера к трикстеру», в которой излагается диалектическая теория этики:

«Диалектика позволяет, во-первых, учесть многоголосие этического выбора и многооставность этического субъекта, а во-вторых, обеспечить практическое применение противоречащих друг другу принципов на основе иерархии этических миров» (с. 131).

Участники дискуссии очерчивают теоретико-политический контекст создания книги и обсуждают ее основные аргументы и решения.

Завершает номер рецензия Георгия Ванунца на книгу Грегугара Шамаю «Неуправляемое общество. Генеалогия авторитарного либерализма» (2021). Она посвящена развитию теорий менеджериализма и их влиянию на управляемость демократии. Менеджер обретает моральную автономию, когда в первой половине XX века происходит разделение владения и управления, собственников бизнеса и нанимаемых им менеджеров.

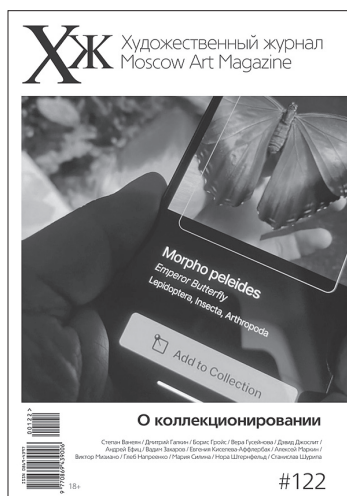
«Если собственник больше не управляет фирмой максимально эффективно в своих интересах (так как он не управляет ею вообще), а интересы менеджера вовсе не обязательно связаны с максимизацией прибыли фирмы, то за счет чего вообще сохраняется положительный вклад корпоративного капитализма в общее благо?» (с. 160).

Этот вопрос стал ведущим в поисках теорий менеджериализма, краткий обзор которых в контексте проблематичного союза рынка и демократии дает Ванунц вслед за Шамаю. Эти поиски и ряд других процессов, по мнению автора книги, привели к становлению авторитарного либерализма, защитившего господствующий тип производства от демократических требований (с. 169).



СОБИРАТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ

Новый номер «Художественного журнала» (2022. № 122) посвящен коллекции как специфическому объекту, его устройству, а также практике и мотивам коллекционирования. Журнал и ранее затрагивал тему музейных коллекций, но впервые организовал прицельное обсуждение частных коллекций как важной части арт-системы.



Как отмечается в редакционном предисловии, коллекционирование заключает в себе противоречие. С одной стороны, оно очевидно порождено рыночными отношениями – с другой, устремлено к их преодолению, поскольку коллекционирование мотивируется далеко не только и не столько коммерческой выгодой. «Товарный фетишизм в собирательстве достигает своей высшей точки, становясь страстью, которая, однако, выводит его за пределы духа стяжательства и коммерческих интересов» (с. 3). В центре внимания участников обсуждения преимущественно все, что не связано с коммерческой составляющей. Можно предположить, что отчасти это обусловлено тем, что художественный рынок в стране относительно слаб и многие коллекции, даже постсоветские, собирались и собираются не в рамках рыночных правил.

Открывающий дискуссию Дмитрий Галкин сразу расставляет флажки. Он перечисляет расхожие, но ограниченные способы объяснения феномена коллекционирования: товарный фетишизм, инструмент культурной памяти и анальная стадия в схематике психоанализа. Их ограниченность он поясняет примерами из личного опыта общения с коллекционерами:

«Говоря о серьезном частном коллекционере как герое позднего капитализма, мы видим довольно сложную систему/модель социализации художников и искусства, в которой частная коллекция и ее хозяин функционируют в качестве одного из социальных хабов, позволяющих создавать сети и узлы отношений всех участников этого культурного процесса» (с. 11).

Поэтому Галкин сравнивает коллекционера с *куратором*: оба собирают множество (коллекцию, экспозицию) и исходя из идейных и художественных оснований принимают на себя дополнительную ответственность в конкретной культурной ситуации. (Правда, тем самым коллекционер все еще формирует товарную ценность искусства.) Вера Гусейнова поясняет сближение фигур коллекционера и куратора: дело в том, что один из главных смыслов коллекционирования – показ коллекции, а значит, создание экспозиции и кураторская работа по упорядочиванию и отбору объектов. Зачастую эта необходимость становится толчком к систематизации коллекции ее владельцем (с. 58). Вдобавок, замечает Борис Гройс, любые коллекции деконтекстуализируют произведения (с. 103), поэтому не имеют никакого естественного или «родного» нарратива и требуют его изобретения куратором-владельцем.

Галкин провел небольшой опрос художников и кураторов, поэтому в заключение статьи приведена коллекция весьма ценных размышлений респондентов о том, зачем занимаются коллекционированием и что

такое коллекция. Среди них есть идеи, которые далее развиваются авторами номера: например, «коллекция должна звучать как оркестр» (с. 12) и «коллекция – расширенная “самость” коллекционера» (с. 13).

Здесь же Виктор Мизиано в своем ответе цитирует Валерия Подорогу: «истинному коллекционеру всегда не хватает последней вещи, чтобы завершить коллекцию; [...] в этой “нехватке” – суть собирательства» (с. 15). Значит ли это, что коллекция всегда не завершена, а желание коллекционера подобно накопительству? Ответ на этот вопрос ищет Глеб Напреенко. Опираясь на психоанализ, он проводит границу между накопительством и коллекционированием как сторонами собирательства. В коллекции объект перестает быть объектом и становится на фоне множества *вещью*, «бытие которой обладает собственной внутренней связностью» (с. 31). В интерпретации Напреенко элемент коллекции *метафоричен*, отсылает к чему-то иному. Это сублимированное отношение к вещи. Метафора вводит эффект многозначия, «и так далее», а значит, коллекция – *состоявшееся*, но потенциально продолжаемое высказывание (с. 35). Накопление же – метонимия влечения, оно не может остановиться – таково десублимированное отношение. Напреенко приводит примеры художественных проектов, в основании которых была игра сублимации и десублимации: скажем, колонна Курта Швиттерса в его доме, которая росла и наполнялась памятными вещами вплоть до его бегства в Норвегию.

Идею коллекции как зафиксированного высказывания иллюстрирует случай Вадима Захарова, размышления которого опубликованы в этом номере «ХЖ». Он начал коллекционировать и архивировать работы московских концептуалистов еще в начале 1980-х, когда они ничего не стоили и вполне могли оказаться на свалке. Захаров понимал свою деятельность как «заполнение ниш» (с. 41). «У этой стратегии есть

одна характерная черта – ее завершение четко зависит от поставленной задачи. Пустые ниши рано или поздно наполняются, и тогда продолжать не имеет смысла» (с. 47). Он проговаривает ключевой момент: художнику важно знать, где и как хранятся его работы. Поэтому с какого-то момента коллекция – если она систематизирована, открыта и ею занимаются, если у нее «аутентичная платформа» – может начать сама притягивать работы (с. 48).

Рассказ Захарова о своей коллекции подтверждает два тезиса Веры Гусейновой. Во-первых, о том, что возможность рассказать историю коллекции – важное условие ее существования (с. 51). Во-вторых, что одна из функций коллекционирования – производство культурных ценностей через легитимацию объекта как искусства. Коллекционеры зачастую скупают работы молодых художников или новых направлений, и это становится первым шагом их признания и введения в официальное поле (с. 53). В этом заключается специфическая культурная ответственность, о которой говорит и Галкин.

Если Гусейнова работает с материалом поздней и постсоветских коллекций неофициального искусства, вместе с Захаровым очерчивая их историю, то Мария Силина предлагает в своей статье обзор судьбы музейных коллекций после 1917 года. Особый акцент она делает на трансформациях их связи с историей. Первые пятнадцать лет становления советской музейной системы – интереснейший период, поскольку на него пришелся всплеск количества музейных экспонатов. Их источник – присвоение государством авторских частных коллекций и музеефикация предметов быта уничтоженных классов. Тогда же культурная политика диктовала создание новых музеев по всей стране и *перераспределение* экспонатов между регионами и музеями (с. 64–65). Силина говорит в этом контексте о вопросах классификации музеев



в масштабах страны, научной организации и *рационализации* их работы. Например, в начале 1930-х эту деятельность монополизировала философия – в частности, диалектика, – и это привело к парадоксальному подходу:

«Музеи показывают отношения между вещами и людьми, эти отношения задаются идеологическими рамками (надстройками), которые включают такие области, как экономика, история, искусство. Проще говоря, любая вещь может быть показана в любом из музеев – экономическом, историческом, художественном, – изменится лишь ее презентация, пропущенная через специфику каждой из надстроек. [...] Радикализм такого подхода заключался в том, что потенциально снимался самый верхний слой музейной иерархии, согласно которой художественно совершенные вещи принадлежали музеям искусств, а “проходные”, анонимные – любым другим (с. 66).

Впрочем, замечает Силина, уже через несколько лет культурные и геополитические иерархии были восстановлены, а историчность как осознание принадлежности конкретному историческому моменту была выхолощена в пользу *вневременности* (с. 69). После войны *вневременность* усилилась возвращением авторства: теперь коллекции обретали биографию своих создателей (например Павел Третьяков в случае Третьяковки), а не были результатом ситуативного безличного перераспределения предметов ради «рационализации» и конкретно-исторических задач. «За фигурой авторов в публичной истории музея теряется вся история алиенаций, рационализаций, переброски предметов, которая разыгрывалась десятки лет» (с. 70). Силина отмечает, что дигитализация коллекций обострила проблему «больших данных» (*big data*), поскольку ослабила пределы накопления и одновременно заново лишила предметы истории.

«В России эта тенденция максимальной, тотальной дигитализации коллекций лишь усилила мотив бездонной внеисторичности музеев как средства отвлекаться от собственных потенциально конфликтных практик собирания. [...] Гигантский каталог с чрезвычайно ограниченным поиском не содержит строчки о провенансе, артефакты существуют без истории, она снова переписана с чистого листа. Ее начало – в самом наличии предмета в коллекции или поисковой базе, других истоков у вещи нет» (с. 70).

Нора Штернфельд солидарна с Силиной и тоже проблематизирует деисторизацию коллекций, усилившуюся благодаря дигитализации. Выходом она видит децентрализацию и демократизацию государственных коллекций: «Сделать архивы и собрания более понятными, открыть простор для альтернативных режимов прочтения и интерпретаций, а также для другого будущего, мечты о котором нередко адресуют вопросы прошлому» (с. 95). Впрочем, Борис Гройс считает, что остающуюся на изнанке коллекций историю их собирания можно обнаружить косвенно – в организации ее экспонирования:

«Коллекции произведений искусства и выставки демонстрируют порядки, законы и торговые практики, регулирующие наш мир, а также разрывы, которым эти порядки подвержены – войны, революции, преступления. Эти порядки невозможно “увидеть”, но можно явить в способе организации выставки, в том, каким образом искусство “заключается в рамку”» (с. 103).

Дэвид Джослит продолжает обсуждение связи коллекции и истории на материале новых музеев в странах Персидского залива, Восточной Азии и Южной Африки вроде филиала Лувра в Абу-Даби. Эти музеи он вслед за Александром Казеруни называет *музеями-зеркалами*: они встроены в глобальную западную музейную

систему, отражают ее ожидания и стандарты, а с собственной местностью связаны лишь символически через адресованную Западу отзеркаливающую репрезентацию западного же образа арабской культуры. «Новые музеи в странах Персидского залива являются западными институциями, которые расположены на глобальном Юге, но нацелены в основном на привлечение инвестиций, туризма и политической поддержки глобального Севера к выгоде местных элит» (с. 74). Работающие здесь западные кураторы, по сути, занимаются «курированием» местной культуры, собирая более благоприятный ее образ. При этом, отмечает Джослит, происходит пересмотр отношений с бывшими колонизаторами, но не происходит изменения ценностей и когнитивных структур, лежавших в основании прежних отношений.

В качестве альтернативы он обсуждает возникшую среди американских коренных народов историзирующую концепцию выживания-через-сопротивление как фундамент их собственной музейной репрезентации. Один из ее приемов – «помещать документацию современных сообществ коренных народов и их образа жизни рядом с “историческими” памятниками их материальной культуры, чтобы показать их взаимодополняемость, современность» (с. 77). Словом, это попытка восстановить когнитивную справедливость и выделить собственную современность народов в противовес унифицирующему и насильственному глобальному настоящему Запада.

В истории было немало попыток трансформировать коллекционирование, скажем, сделав его более доступным и уменьшив

дистанцию между художником и зрителем. Так возникла практика *проката* произведений искусства (*art-lending*), обзору исторических версий (пиктотек, графотек, артотек) которого посвящена статья Андрея Ефица. Эти проекты мыслились и как изменение статуса произведения как собственности, и как способ воспитать вкус к коллекционированию, и как форма поддержки и продвижения молодых художников. Вместе с Всесоюзной художественной лотереей, проводившейся с 1962 года (с. 87), он называет их *распределенным коллекционированием*, отсылая к устройству античной демократии. Другая трансформация формы коллекции связана с медиумом искусства. Традиционно речь идет о произведениях, на которые смотрят. А как быть с искусством *мультисенсорным*, которое осязается, обоняется и воспринимается иными, не визуальными, способами? О таких коллекциях – статья Евгении Киселевой-Аффлербах.

* * *

Разнообразие тем, попавших в обзор номеров, не должно вводить в заблуждение. Во многих материалах сквозят тревога, переживание неопределенности и моральный тупик, которые стали преобладающими состояниями последних полутора лет. Они служат контекстом, в котором авторы обращаются к переосмыслению, казалось бы, далеких тем или прямо спрашивают себя и традицию, как жить дальше. Нехватка ответа на этот вопрос, вероятно, еще долго будет задавать тон и проблематику отечественной интеллектуальной периодики.

